

Г. РЕБЕЛЬ

**«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?»: ИСТОКИ И СМЫСЛ ОБРАЗА  
ИЕШУА ГА-НОЦРИ В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА  
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»**

За сорок лет своего легального, публичного существования роман «Мастер и Маргарита» пережил разные оценки, разное отношение к себе и многочисленные, нередко взаимоотрицающие трактовки. Книгой откровений — и тематических, и художественных — казался и продолжает казаться он своим почитателям. Кошунственным произведением сочли его многие представители православия. Романом для подростков и вторичным продуктом, едва ли не всецело построенным на заимствованиях, считают его некоторые ученые. Так или иначе, он жив, он не только не сгорел в огне авторского отчаяния в глухие и страшные 30-е гг., но и не утонул в море разнообразной, в том числе высококачественной, литературы, хлынувшей на читателей с середины 80-х гг. прошлого века. И в отличие от немалого числа возвращенных произведений роман «Мастер и Маргарита» не перешел в разряд «достояний доцента», не превратился в чисто академический объект, притом что продолжает изучаться весьма активно, — он остался одной из самых читаемых, любимых, живых книг, что, разумеется, ни в коей мере не сделало его простым и однозначным.

Многое в своей судьбе роман напроорочил-предугадал. Он по-прежнему «приносит сюрпризы» тем, кто с ним так или иначе соприкасается, и по-прежнему вызывает самые разные, порой совершенно фантазмагорические интерпретации, что заставляет вновь и вновь вспоминать слова Иешуа: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время».<sup>1</sup>

Путаница обусловлена, в частности, тем, что роман насквозь литературен, от начала до конца пронизан аллюзиями и реминисценциями. Существует множество литературоведческих работ, посвященных «дальним» источникам образного мира «Мастера и Маргариты», но при этом, как ни странно, — а может быть, и закономерно — не всегда замечаются более близкие и несомненные.

---

<sup>1</sup> Булгаков М. Мастер и Маргарита // Булгаков М. Избр. произв. В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 350. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с обозначением литерой Б и указанием арабскими цифрами тома и страницы.

Если «Белая гвардия», по утверждению самого Булгакова, написана в традициях «Войны и мира», то «закатный роман» не только декларирует свою ценностную ориентацию на Достоевского — «Достоевский бессмертен!» (Б., 2, 680), — но столь же очевидно наследует «карнавальную» жанровую традицию в интерпретации М. Бахтина, очень активно апеллируя к таким принципиально значимым моментам художественной стратегии Достоевского, как объединение в рамках художественного целого контрастных стилиевых пластов, создание системы двойников и специфическое построение образа героя — герой Булгакова еще в большей степени, чем герой Достоевского, выступает «не как человек жизни, а как субъект сознания и мечты».<sup>2</sup> Здесь сошлемся на собственное исследование,<sup>3</sup> в котором эти положения подробно обоснованы.

Столь «плотное» взаимодействие романа «Мастер и Маргарита» с текстами-предшественниками делает сложной и ответственной задачу вычленения собственно булгаковских образно-смысловых интенций, чтобы хоть отчасти уменьшить заданную самим автором, но отнюдь не такую безнадежную, как это может показаться на первый взгляд, путаницу, нередко усугубляемую нарочитыми искажениями интерпретаторов, которые тоже предусмотрены и оговорены в самом романе: «Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил» (Б., 2, 350). Именно так должен был бы отреагировать Иешуа на цитирование его обращенных к Пилату слов в одной из современных статей о романе Ф. М. Достоевского «Идиот»: «Правда в том, что у тебя болит голова», после которой следует риторический вопрос «Но разве в этом правда?»,<sup>4</sup> из коего вытекает, что уж автору-то статьи, А. Мановцеву, точно известно, где она и в чем. Между тем Иешуа говорил не о правде, которая неизбежно имеет конкретный, частный характер (у каждого своя правда, свидетельствует афоризмом сам язык), — Иешуа говорил об истине, т. е. о явлении всеобъемлющем, универсальном, и его слова: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти», — это на первый взгляд странный, уклончивый, а на самом деле принципиально значимый в контексте романа Булгакова ответ на восходящий к евангельскому, иронически-уничижительный по отношению к собеседнику вопрос Пилата: «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» (Б., 2, 352).

В сущности, это и есть ключевой вопрос романа, который дается в еще одной, провокационной, «дьявольской», огласовке: « . ежели

---

<sup>2</sup> Бахтин М Проблемы поэтики Достоевского М , 1963 С 67

<sup>3</sup> Ребель Г Художественные миры романов Михаила Булгакова Пермь. 2001

<sup>4</sup> Мановцев А Свет и соблазн // Роман Ф М Достоевского «Идиот» Современное состояние изучения М , 2001 С 286

Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?». Поспешный ответ Ивана Бездомного — «Сам человек и управляет» (Б., 2, 341) — тотчас же опровергается снисходительно-насмешливыми комментариями Воланда про неспособность человека не только «составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем, в тысячу», но и поручиться «за свой собственный завтрашний день», его же скептическими рассуждениями про слепую зависимость человека от непредвиденных обстоятельств, и это притом, что никакой кирпич «ни с того и ни с сего ( ) никому и никогда на голову не свалится» (Б., 2, 341, 343). Человеческая несостоятельность в деле управления, казалось бы, последовательно и неуклонно подтверждается всем содержанием романа. Однако не стоит игнорировать предупреждение: мало ли что можно рассказать — не всему надо верить, к тому же роман не силлогизм и отнюдь не строится по принципу: тезис—доказательство—вывод, и вряд ли стоит торопиться с категорическим отвержением Ивановой версии, по крайней мере ее не мешает принять во внимание, тем более что она активно работает в самой сокровенной части романа — библейской, которая демонстративно вводится как опровергающая, опрокидывающая привычную логику. «И доказательств никаких не требуется (…). Все просто. в белом плаще, с кровавым подбоем…» (Б., 2, 346). А далее следует цепь неопровержимых по своей силе и выразительности художественных свидетельств, живописующих «легендарный» мир таким образом, что сравнительно с «современным» он выглядит безусловно более достоверным, реальным, более теплым и актуальным — при этом рассказ Воланда, как замечает начитанный Берлиоз, действительно «не совпадает с евангельскими рассказами» (Б., 2, 370).

Разумеется, это нарочитое несовпадение входит в авторский замысел и предопределяет уникальность булгаковского решения вечной темы, в котором обнаруживаются следы других, неканонических, источников, и тут мы должны согласиться с А. Мановцевым в том, что «образ Иешуа Га-Ноцри в романе Булгакова восходит ( ) к образу князя Мышкина». <sup>5</sup> Более того, оба этих героя имеют, на наш взгляд, общий литературный прототип, чем во многом и объясняются черты их сходства и князь Мышкин, и Иешуа созданы не столько даже по евангельскому, сколько по ренановскому образцу. <sup>6</sup> «Бесконечное

<sup>5</sup> Мановцев А. Свет и соблазн С 285

<sup>6</sup> О знакомстве Достоевского с книгой французского историка и философа Э. Ренана (Renan, 1823—1892) «Жизнь Иисуса» («Vic de Jesus», 1863) и ее роли в творческой истории романа «Идиот» см. в комментариях Н. Н. Соломиной к этому роману (9, 396—399). См. также Соркина Д. Л. Об одном источнике образа Льва Николаевича Мышкина // Учен. зап. Томского гос. ун-та. Вопросы художественного метода и стиля. 1964. № 48. С. 145—151, Соломина-Минилен Н. Н. (мать Ксения) О роли книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса» в творческой истории

очарование», которым Иисус привлекал учеников и последователей, чистая человечность, отрешенная от плоти и корысти, искренность и простодушие, открытость и милосердие при безоглядной устремленности к идеалу и вере в личную причастность Отцу — таков ранний, галилейский, Иисус Ренана, таков князь Мышкин, таков Иешуа <sup>7</sup>

Сама установка Ренана — «Мне надо было сделать своего героя прекрасным и очаровательным (так как он бесспорно был таковым)»<sup>8</sup> — созвучна намерению Достоевского изобразить «положительно прекрасного человека» (28<sub>2</sub>, 251) <sup>9</sup> Изначально задуманный «Князь Христос» остался в черновиках романа «Идиот» — как пишет К Мочульский, «перед безмерностью задачи Достоевский остановился» <sup>10</sup>

Булгаков, опираясь на художественный опыт Достоевского, словно делает возвратный ход, т е с учетом Мышкина и героя Ренана реконструирует образ Иисуса в его земной, человеческой, первичной ипостаси — потому и имя его — «Иешуа», а не пришедшее в русский язык через греческих посредников «Иисус»

И способ предьявления героя Булгакова, и содержание его образа существенно скорректированы относительно канона Евангельский Иисус предстает перед Пилатом в ореоле всезнания («Иисус заранее знал обо всем, что должно было с Ним случиться» (Ин 18 4)) и Божественного предназначения — ибо «все произошло во исполнение Писания» (Ин 19 24) Несмотря на частные расхождения, все четыре Евангелия свидетельствуют Иисус не только сознавал свое превосходство над палачами, но и не скрывал его и не снисходил до общения и объяснений с ними К тому же евангельский текст по сути своей предельно лаконичен, сдержан, «темен»,<sup>11</sup> его внутренний объем и неисследимая глубина создаются за счет недоговоренностей

---

«Идиота» // Роман Ф М Достоевского «Идиот» Современное состояние изучения Сб работ отечественных и зарубежных ученых / Под ред Т А Касаткиной М, 2001 С 100—110

<sup>7</sup> Ренан Э Жизнь Иисуса СПб, 1906 С 157

<sup>8</sup> Там же С 157

<sup>9</sup> В черновом наброске неосуществленной статьи Достоевского «Социализм и христианство» есть запись «NB Ни один атеист, оспоривавший божественное происхождение Христа, не отрицал того, что Он — идеал человечества Последнее слово — Ренан Это очень замечательно» (20, 192) В «Дневнике писателя» 1873 г (статья «Старые люди») Достоевский упоминает о «полной безверия книги Ренана», который, однако, был вынужден преклониться перед «сияющей личностью» Христа и признать, что Он есть «идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем» (21, 10—11)

<sup>10</sup> Мочульский К Гоголь Соловьев Достоевский М, 1995 С 393

<sup>11</sup> А)зрбах Э Мимесис Изображение действительности в западноевропейской литературе М, 1976 С 32

и символической насыщенности, оставляющих простор пониманию, воображению и множественным толкованиям.

Булгаковская «корректировка» состоит прежде всего в наполнении легендарных событий отсутствующей в первоисточнике конкретикой. Картина явлена воочию во всей своей предметной дробности и величественной значимости: белый плащ с кровавым подбоем, шаркающая кавалерийская походка прокуратора, само торжественно-громоздкое, под стать объекту изображения, построение первой фразы «романа мастера»; колоннада Иродова дворца, запахи розового масла, пота и дыма; голубой хитон и кровь на лице пленника, воркование голубей и пение воды в фонтане — густо и сочно обустроенный и при этом символически насыщенный, напряженно драматический мир утверждает свою реальность самым способом своего изображения. На переднем плане — Понтий Пилат (так и называется глава), олицетворяющий несокрушимую самоуверенность власти — «сидел как каменный» (Б., 2, 347, 348) — и неизбежную ее человеческую уязвимость: причина каменной неподвижности игемона — невыносимая головная боль, заставляющая даже помышлять о смерти. Разительно не похож на евангельского Иисуса пленник с его наивным и трогательным обращением к грозному наместнику «добрый человек», с его готовностью отвечать на вопросы и желанием быть понятым, с очевидной слабостью и неожиданной силой воздействия на своего судью. Сцена допроса изобилует ремарками, которых не только нет в евангелиях, но которых там не могло быть, ибо они совершенно не подходят евангельскому Иисусу. Иешуа смотрит на прокуратора «с тревожным любопытством»; «торопливо», «всем своим существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева», откликается на вопросы «поспешно», «живо», «застенчиво», «охотно», «весь напрягаясь в желании убедить» (Б., 2, 346—359). Он чутко прислушивается к обращенным к нему словам и жаждет быть услышанным, понятым. Его привели сюда силой, но говорит он так, словно ждал этой встречи и возможности поделиться «новыми мыслями» с прокуратором, который, как простодушно констатирует пленник, «производит впечатление очень умного человека». Пилат, до определенного момента, допрашивает; Иешуа с Пилатом разговаривает — и пробивает эту каменную глыбу, проделывает в ней брешь: избавив прокуратора от головной боли, он одновременно лишает его властной самоуверенности и несокрушимости, он заставляет «свирепое чудовище» (Б., 2, 348) повернуться к себе человеческим лицом. Сцена допроса утверждает не царственное величие и недоступность Иешуа земному суду, а неотразимость его личного обаяния — т. е. именно то, на чем настаивает как на главном источнике влияния Иисуса на окружающих Э. Ренан, то, что положено было Достоевским в основу образа князя Мышкина. Явление Мышкина у Епанчиных тоже опрокидывает ожидания, тоже обставлено множе-

ством смягчающих и утепляющих ремарок: он высказывался щедро, самозабвенно и страстно, «очень скоро и доверчиво одушевлялся», «с жаром настаивал», по-детски мгновенно переключался с одного на другое, по-взрослому увлекался воспоминаниями — и говорил притчами, и изумил слушательниц рассказом про осла, криком своим разбудившего его от беспамятыства, и «смеялся не переставая», а вместе с ним смеялись настороженно встретившие его собеседницы, и его уже любили, и хотели с ним говорить, и возлагали на него надежды, и доверяли ему тайны (8, 49, 54). «У меня и осла-то никакого нет, игемон», — словно откликается на «ослиный» мотив «Идиота» Иешуа, — «и никто мне ничего не кричал» (Б., 2, 355), — добавляет он, самой этой отрицательной переключкой с романом Достоевского подтверждая глубинную связь с одним из своих прототипов.

Иешуа, как и Мышкин, «заговаривает» своего собеседника, который поначалу относится к нему даже не скептически, как Епанчины и их камердинер к князю, а враждебно, презрительно и совершенно не склонен слушать сторонние речи, желая лишь получить ответы на поставленные обвинением вопросы. Но, так же как Мышкин, и в гораздо более безнадежном случае, Иешуа перелаживает ситуацию и заставляет себя слушать и слышать. В сцене допроса есть свой потрясенный «камердинер» — секретарь, который перестает записывать и исподтишка бросает удивленные и испуганные взгляды на прокуратора, позволяющего странному пленнику произносить неожиданные и неуместные речи, в какой-то момент он даже усомнился, «верить ли ему ушам своим или не верить», и только пытался предугадать, в какую «причудливую форму выльется гнев вспльчивого прокуратора» (Б., 2, 353). Более того, в ответ на вопрос начальника «Всё о нем?» секретарь, оказавшийся во власти тех же чар, что и сам прокуратор, отвечает: «Нет, к сожалению» (Б., 2, 356), этим неожиданным для самого себя ответом невольно свидетельствуя, что и сборщик податей мог «смягчиться» (Б., 2, 351), бросить деньги на дорогу и последовать за этим странным человеком. Сила же впечатления, произведенного на самого Понтия Пилата, такова, что он, опять-таки невольно, незаметно для самого себя, превращает допрос в напряженный и важный разговор — тот самый, который и предлагал ему Иешуа, а в какой-то момент этого ставшего ему необходимым общения начинает мысленно метаться в поисках варианта спасения необыкновенного собеседника, и на мгновение его осеняет счастливая мысль, подобная полету ласточки под колоннадой Иродова дворца. «Были случаи, — пишет Ренан, — когда судьбу мира решали полет птиц, направление ветра, головная боль».<sup>12</sup> За время полета ласточки «в светлой теперь и легкой голове прокуратора» (Б., 2, 356) родилась спасительная мысль объявить бродячего философа душевнобольным, каковым, по

---

<sup>12</sup> Ренан Э. Жизнь Иисуса. С. 23.

словом Ренана, и был во мнении окружающих Иисус: «Иногда можно было подумать, что разум его помутился. Им овладевали порывы страшной тоски и внутреннего смятения. Великое видение Царства Божия беспрестанно пылало пред его взором и заставляло кружиться его горячую голову. Надо припомнить, что близкие его в некоторые мгновения считали его сумасшедшим, что враги объявили его одержимым».<sup>13</sup> Идиотизм Мышкина того же происхождения и того же функционального назначения: знак отличия, избранности, неотмирности. Пилат, разумеется, ни минуты не верит в сумасшествие Иешуа. «Разве я похож на слабоумного?» — спрашивает его незадолго до появления ласточки пленник. «О да, ты не похож на слабоумного» (Б., 2, 354), — соглашается прокуратор, но в то же время полагает, что объявление Га-Ноцри с его «безумными, утопическими речами» (Б., 2, 356) сумасшедшим — это единственный способ его спасти, и спасти не только ради него самого, но и ради себя, а для этого, по плану Пилата, следует спрятать и одновременно заключить его в резиденции наместника, Кесарии Стратоновой. Сумасшествие — не как диагноз, а как высокое безумие и спасительный статус — в романе Булгакова зеркально отразится в «современных» главах — в судьбе Ивана Бездомного, помещенного, не без участия Воланда, в клинику Стравинского (ср.: Кесария Стратонова), где он обретет подлинную творческую свободу и переживет творческий взлет. Там же, что вполне естественно, в поиске защиты и укрытия появится Мастер. Но у Иешуа Га-Ноцри другой путь, и хотя не Пилату перерезать волосок, который не он подвесил, но ему, грозному римскому наместнику, бывшему вехой на этом пути и убоявшемуся обвинений со стороны высшей имперской власти больше, чем неизбежной вины, суждено бессмертие, одна мысль о котором вызывала у него «нестерпимую тоску» (Б., 2, 357). Лаконичную и «темную» в части поведения и реакции Пилата евангельскую сцену допроса Булгаков превращает в напряженный, захватывающий психологический и нравственный поединок, в котором абсолютную победу одерживает не тот, кто допрашивает, принимает решение и посылает на казнь, а тот, кто бессилен внешне, но свободен и несокрушим духовно.

Так же свободны, не демонстративны, не регламентированны отношения Иешуа и с высшей инстанцией, которую он представляет. И этим он опять-таки напоминает князя Мышкина. «...мы нигде не находим ни малейшего намека на его мистическую жизнь, на его молитву, на его личную обращенность к Богу»,<sup>14</sup> — пишет о герое Достоевского Л. Зандер. На этом основании порой делается вывод, что князь чужд подлинной вере, и «если можно го-

---

<sup>13</sup> Там же С 239

<sup>14</sup> Зандер Л. А Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского) Франкфурт, 1960 С 128

ворить о Мышкине как о Христе, то только следующим образом: Мышкин — это псевдо-Христос, лже-Христос»<sup>15</sup> Однако подобные упреки и обвинения игнорируют тот факт, что в данном случае герой сам собою воплощает трансцендентное — именно так воспринимают его окружающие, и здесь опять несомненно связь с героем Ренана, который «никогда не спорил о Боге, ибо он чувствовал его непосредственно в самом себе».<sup>16</sup> «Бог, познаваемый непосредственно, как Отец, — вот все богословие Иисуса»<sup>17</sup> — так верует и князь Мышкин: «всю сущность христианства», «все понятие о Боге» он услышал и уразумел в словах простой крестьянки («о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя») (8, 184) Так же «неканонично» ведет себя герой Булгакова, при этом он убежден в том, что воздвигнется храм новой веры, что настанет «царство истины и справедливости», что «злых людей нет на свете» (Б., 2, 355) и что «перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил» (Б., 2, 354). В то же время, он, как и Мышкин, по-человечески страшится смерти: «А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен — Я вижу, что меня хотят убить» (Б., 2, 359). Эта не ведающая своей божественной природы, своего высшего предназначения человечность Иешуа — принципиально значимый момент, очень точно прокомментированный в свое время И. Виноградовым: «Богочеловек, посетивший землю, должен быть на ней, конечно, обычным, земным человеком — не просто смертным человеком, но человеком, ничего не знающим о том, что он — Сын Божий, человеком, действующим только в пределах земных, человеческих возможностей и представлений, как мог бы в принципе действовать всякий другой ( ). Именно поэтому он и может выдержать нагрузку в качестве человеческой нравственной антитезы Понтию Пилату — Сын Божий, знающий о себе это, ее бы не выдержал».<sup>18</sup> И даже на кресте, подвергаемый жесточайшим мукам и не помышляющий о грядущем воскресении, Иешуа остается пронзительно, беззащитно и непобедимо человечен: «. он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой» (Б., 2, 632). В финале романа «Идиот» мы не видим выражения лица князя Мышкина, но к его утешительному жесту, обращенному к собрату-«разбойнику», которого он гладил дрожащей рукой по

---

<sup>15</sup> Мановцев А. Свет и соблазн. С. 276. Критический отзыв об интерпретации А. Мановцевым образа Мышкина см. Соломина-Минихен Н. Н. «Я с человеком прошусь» (К вопросу о влиянии Нового Завета на роман «Идиот») // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2005. Т. 17. С. 346—347.

<sup>16</sup> Ренан Э. Жизнь Иисуса. С. 96.

<sup>17</sup> Там же. С. 111.

<sup>18</sup> Виноградов И. Завещание Мастера // Вопросы литературы. 1968. № 6. С. 68.

волосам и щекам, «как бы лаская и унимая его» (8, 507), очень подходит вопрошающая, растерянная улыбка Иешуа.

«Он не проповедовал своих убеждений, а проповедовал самого себя»,<sup>19</sup> — это сказано об Иисусе Э. Ренаном. Именно личностная уникальность Христа, то, что Слово бысть плоть, более всего убеждало и привлекало Достоевского. «Нравственность Христа в двух словах, — писал он в черновиках к «Бесам», — это идея, что счастье личности есть вольное и желательное отрешение ее, лишь бы другим было лучше. Но главное не в формуле, а в достигнутой личности, — опровергните личность Христа, идеал воплотившийся. Разве это возможно и помыслить?» (11, 193). Положительно прекрасным человеком, проповедующим самого себя, достигнутой личностью, идеалом воплотившимся задуман и осуществлен князь Мышкин. Таков же Иешуа Га-Ноцри.

Однако события в «Идиоте» разворачиваются по катастрофическому сценарию, и явление Мышкина не только не предотвращает, но, пожалуй, усугубляет трагедию. В «Мастере и Маргарите» Иешуа восходит на Голгофу, а в мир якобы для восстановления справедливости является дьявол. И в том и в другом случае вопрос об истине не получает однозначного решения, а это в свою очередь порождает сомнения в легитимности хриstopодобных героев Достоевского и Булгакова, которые нередко несправедливо рассматриваются как самозванцы и в силу этого виновники всех несчастий. «Иешуа и Мышкин доводят милосердие до абсурда и фальши, — пишет А. Мановцев, — с той лишь огромной разницей, что Булгаков эту фальшь оправдывал, Достоевский же видел ее последствия».<sup>20</sup>

Герой «Преступления и наказания», осуществивший чудовищный эксперимент по проверке идеи «крови по совести», терпит полный и безусловный крах и в финале припадает к животворному евангельскому источнику как к единственной возможности спасения. Следующий роман должен был стать историей духовного перерождения героя, но писатель отказался от этого замысла и предъявил в романе «Идиот» «готового» к исполнению миссии князя Мышкина, и в новом романе писатель испытывает на прочность то самое, к чему в финале своей истории пришел Раскольников, — персонифицированную евангельскую истину.

Картина «Мертвый Христос» Гольбеина, от которой «у иного еще вера может пропасть!» (8, 182), — несомненный аналог романа «Идиот». Итоговый смысл и итоговые эпизоды романа соотносимы с комментариями Ипполита к гольбеиновскому Христу: «...если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины,

<sup>19</sup> Ренан Э. Жизнь Иисуса. С. 111.

<sup>20</sup> Мановцев А. Свет и соблазн. С. 285.

ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет?» (8, 344)<sup>21</sup> Вот на эти сомнения, на несоответствие опыта упованиям Достоевский и откликнется в следующем романе, в «Бесах», словами, которые задолго до того были высказаны им в частном письме «если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, 1, 176)<sup>22</sup>

У Булгакова вопрос об истине тоже решается очень непросто. Параметры поисков ответа обозначены двумя принципиально важными Воландовыми высказываниями «Иисус существовал ( ) И доказательств никаких не требуется. Все просто в белом плаще с кровавым подбоем», — (Б, 2, 346) и — «если Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» (Б, 2, 341). Убедительность, достоверность художественного предьявления библейских героев, в сравнении с нарочитой легковесностью и фантазмагоричностью большинства современных персонажей, ведущих зыбкое, двойственное, пустое, «безбожное» существование, сами по себе служат доказательством несомненности древней истории, но вопрос о том, кто управляет миром, этим не снимается. Ершалаимская трагедия отражается в судьбе Мастера, и мир в целом очень мало похож на управляемый высшей благоустроительной силой, подчиненный Божьему Промыслу, чем и был в свое время порожден бунт Ивана Карамазова. Что касается Воланда, который является в отвергнувшую сказки о Боге Москву в качестве доказательства от противного, то и он, несмотря на то что ему упорно приписывают-навязывают функцию восстановления попранной справедливости, совершенно с этой задачей не «управился» (Б, 2, 342), ничего в этом смысле не сделал принципиально значимого, ничего не изменил «Шайка гипнотизеров», как квалифицируют впоследствии нечистую силу «компетентные органы», порезвилась в свое удовольствие, дала представление с фокусами и фейерверками и удалилась со сцены, ничуть не изменив расклад сил в «зрительской массе», разве только потрепав нервы и предсказав смерть нескольким

---

<sup>21</sup> См также Янг С. Картина Гольбеина «Христос» в структуре романа «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот». Современное состояние изучения. С. 28—41.

<sup>22</sup> О различных интерпретациях тезиса Достоевского о Христе и истине см. Буданова Н. Ф. Достоевский о Христе и истине // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1992. Т. 13. С. 21—29; Касаткина Т. А. «Христос вне истины» в творчестве Достоевского // Достоевский и мировая культура. СПб., 1998. Альманах № 11. С. 113—120; Ерицлова Г. Христология Достоевского // Там же. СПб., 1999. Альманах № 13. С. 37—44; Тихомиров Б. Н. Христос и истина в поэме Ивана Карамазова // Там же. С. 147—177.

мелким жуликам. «Нехорошая квартира» стала таковой задолго до появления нечисти, таковой и осталась по милости все тех же «компетентных органов», когда таинственной компании и след простыл; все эти Лиходеевы, Босые, Алоизии Могарычи благополучно вернулись на свои места или были замещены им подобными. И «квартирный вопрос» не «гипнотизеры» изобрели, и «осетрину второй свежести» не они подбросили. Да и сами они — всего лишь отражения, вышедшие из зеркала («Откуда ж эти отражения?!») (Б., 2, 404) — изумляется Лиходеев, который незадолго перед тем самого себя в зеркале узнать не мог), они материализация зла, сидящего в людях, воплощение бездумного или злобного слова. Многократно воспроизводящаяся, ключевая романная ситуация: «Да что же это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!» — восклицает бездельник администратор. «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» (Б., 2, 517), — откликается странный посетитель, и вместо начальника остается пустой костюм, что, между прочим, никак не отражается на характере административной деятельности. «Черти» в этом романе берут того, кто к этому готов, предрасположен, склонен. Но и это не только знак вины, но и свидетельство ответственности человека за свою судьбу.

Даже дьявол подтверждает верность евангельских истин: «каждому будет дано по его вере» (Б., 2, 599), — объявляет он отрезанной голове не верившего в инобытие Берлиоза и отправляет его в небытие. И абсолютная уверенность Иешуа в том, что перерезать волосок, на котором висит человеческая жизнь, может лишь Тот, Кто подвесил, отнюдь не снимает с его собеседника вины и не лишает самого Иешуа героического ореола, ибо формула «человек перейдет в Царство истины и справедливости» предполагает самостоятельное, осознанное действие, личный выбор и творческую активность со стороны человека, а не бессмысленную слепую покорность его.

Нет, не марионеткой в чужой игре предстает человек на страницах «Мастера и Маргариты». Неуверенные, кажущиеся неловкими и неумными слова Ивана Бездомного «сам человек и управляет», отвергнутые и осмеянные Воландом в начале романа, по ходу повествования незаметно наполняются живым смыслом, прорастают в судьбах и фактах. Человеческое начало, вопреки присутствию могущественных потусторонних сил, оказывается не только двигателем сюжета, но и средоточием ценностного мира романа — отсюда и «странная», в сущности же гуманистическая, формула Иешуа: истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. Иными словами, истина — конкретна, и она — человечна. А еще точнее: истина — это и есть сам человек с его болью, страхами, слабостью, но и с его невесть откуда берущимися силой, достоинством и добротой. И Достоевский, отдавший, казалось бы, предпочтение Христу перед истиной, на самом деле руководствовался той же гуманистической установкой — убеждением в бессмысленности, невозможности, безнравственности абстрактной,

внеположной человеку истины. И в написанной с юмором «апологии лжи», вложенной в уста опьяненного красотой Дунечки Разумихина, выражена одна из сокровенных идей самого автора: «Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организациями. Соврешь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добрались, не соврав наперед раз четырнадцать, а то и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему — ведь это почти лучше, чем правда по одному по чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица!» (6, 155). В момент, когда князь Мышкин с сочувствием слушает безумные байки генерала Иволгина, он не ложь как таковую поощряет, а самого человека поддерживает в полном соответствии с провозглашенным Разумихиным принципом: «Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно; примеры были» (6, 155). Апеллируя к глубинному ядру человеческой личности, Мышкин становится относительно своих собеседников вопрошающе-доверительной инстанцией, тем самым *ты*, апелляция к которому так желанна и продуктивна для *я*, и в этом случае не так уж важно, что говорится, важна сама возможность говорить и быть услышанным. Если развивать аллюзионную линию, Мышкин олицетворяет собою то самое *Ты еси*, существование которого делает осмысленным и неистребимым существование *я*; как формулирует Степан Трофимович Верховенский, «если есть Бог, то и я бессмертен!» (10, 505). Правда, в трагикомическом дуэте с генералом Иволгиным, как и в главной романной коллизии, князь Мышкин достигает лишь временного успеха. «Положительно прекрасный», личностно неотразимый, он тем не менее оказывается жертвой неподвластной ему трагической стихии и в финале романа зависает распятым между жизнью и смертью.

Иешуа тоже не победительная в житейском смысле фигура. Решительно ничего из того, что за ним записывали, он не говорил. И страхи Каиафы были вполне обоснованны: слово философа с его мирной проповедью, попав в передающие его друг другу человеческие уста, оказалось не только благотворным, но и исполненным соблазна, так как «добрые люди» на протяжении веков истребляли друг друга его именем. Булгаков, с одной стороны, настаивает, что Иисус существовал и не нужны никакие доказательства, предъявляя вместо них художественные свидетельства, а с другой — делает Иешуа выдуманным героем романа в романе, т. е. героем героя, — Мастера, который сам похож на галлюцинацию, на мираж, не имеет имени, является исключительно в обманном лунном свете и оставляет на земле после своего бесследного исчезновения только грезящего собой, и Маргаритой, и Понтием Пилатом «ученика» — того самого Ивана Бездомного, который на лукавый вопрос Воланда поспешил ответом: «Сам человек и управляет».

Воланду не понравился этот ответ, он его высмеял, и мы, тоже посмеявшись над Ивановым невежеством и его самонадеянностью, согласились с «профессором», не заметив, что булгаковский дьявол, как ему по статусу и положено, запорошил нам глаза и отвлек от своего главного «фокуса», ради которого и прибыл в Москву. Ему не понравился ответ Бездомного про то, что человек управляет миром, но, судя по всему, очень понравился сам непутевый поэт, наделенный изобразительной силой таланта, который хотя и на заказ и черными красками, но совершенно живым написал в своей поэме Иисуса (Б., 2, 336). За это, за пробившееся сквозь идеологический диктат живое чувство, за не убитый дежурными стишками художественный дар Воланд внушает Ивану истинную картину того, что произошло две тысячи лет назад в Ершалаиме и к чему он так неосторожно, хотя и талантливо, прикоснулся, а затем освобождает его от идеологического надсмотрщика Берлиоза и помещает в самое безопасное и единственное нормальное в безумном мире место — сумасшедший дом, где главный герой булгаковского романа из «ветхого» Ивана превращается в «нового», где он сбрасывает с себя шкуру сервильного поэта, и «бредит» Понтием Пилатом, и предается своим мечтам, и в этих мечтах вновь, уже без помощи Воланда, встречается с пленившими его легендарными героями и с новым самим собой — мастером, рядом с которым совершенно закономерно появляется романтическая незнакомка — мечта поэта, чтобы затем тоже превратиться — в «вечную» Маргариту.

Что это было на Патриарших? Соблазнение поэта дьяволом? Наваждение? Сон? «Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер» (Б., 2, 370), — но очнулся ли он тогда на самом деле? А может быть, то, что кажется существующим на самом деле — подвал, кальсоны, Институт истории и философии, где профессорствует Иван Николаевич Поньрев, — и есть сон? С другой стороны, если «он был, а остальных не было» (Б., 2, 718), — значит, все они, начиная с Воланда, — плод его фантазии? Но и он в свою очередь плод фантазии своего автора, который, выглядывая время от времени из-за спины рассказчика, напоминает о себе: «За мной, читатель!».

«Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится, — и всё вдруг исчезнет» (13, 113), — это не Булгаков, это Достоевский, предсказывающий Булгакова, но если «Достоевский бессмертен», то бессмертна и греза Булгакова, написавшего нестерпимый роман, который впитал и переварил многочисленные мотивы мировой литературы, в котором в игровой художественной круговерти переплетены притча, фантастика, сатира и лирика, в котором сквозь смех, злость, грусть и боль прорастает утешительная истина о созидательной силе человека.